

Ясный полдень над деревней, если можно назвать деревней овраг с облепившими его избами, именно избами, а не домами, полуразрушенными, брошенными пятистенками. Дома мало-помалу пораспродали, хозяева разъехались по городам. Иные, годные для проживания, – купили дома. Разобрали на части и перевезли в город, в Центральную усадьбу. Те, что купили и не перевезли, – прохудились здесь, на месте. Крыши, потекли, пропустили внутрь себя мох и плесень. Так и сгорели – истлели изнутри от влаги. Так сгорает мало-помалу заболевший хронически, неизлечимо человек... Остались стоять лишь убогие избы, которые не продать. Но в них жили и латали крышу, хотя бы изредка, – наезжали на лето на родину сельские жители.

Да и нет на них покупателя. Приедут хозяева этих изб, покосят от крыльца и через сад напропалую вымахавшие травы, порубят борщевик отравленный, подремонтируют пол, кровлю. Половят рыбку, поковыряются в огороде, – да и зальются опять в города, только их и видели. – Опять в города, ближе к теплу и удобствам, к скопищу людскому. Этим теперь только и выживешь. Время такое: как овцы в буран жмутся в одну большую отару. Непогода над страной, непогода.

Умудрись-ка прожить, проживи один или малой своей семейкой. Оно и в отаре так: не сена да клевера – тоже не даровые. А что до нервов, до «стрессов», то и в отаре так: наступают на ноги, толкаются, шарахаются овцы – от угроз, скорбей да болезней. От незнакомых звуков, поветрий инфекций, мора. А ветра в многоэтажных домах-башнях, новостройках, вверху – ещё круче, чем в раздольных полях. Только скопом всё-таки надёжней.

Все в этом «лучшем из миров» сбиваются в стаи и стада, чтобы выжить. Все выживают. Вот и хозяева брошенного села подались по скопищам городским, в поисках безопасности. Тянет, конечно, тянет вернуться домой, босиком пройти по землице извилистой тропкой, намочнуть по пояс в росе. Поваляться в стогу сена. Ностальгия по молодости – едва ли не самая крепкая из всех тягот на этой земле. Самая крепкая связь – с молодостью. Когда всё порушено – остаётся только память. Говорят: «надежда умирает последней». Нет, не так. Даже и тогда, когда надежд уже нет, не осталось, – память всегда с нами. Так, на память, как во тьме на костерок, вернулся военный человек к тому, что осталось в деревне, и к зятюку своему. Ходил по селу, как по погосту. Молчал угрюмо. Мать ушла, и сестра ушла. Не выдержала непогод и нищеты. Да разве только она. Того нет уже, этого – тоже. Молодые же были, – ку-уда... Весёлые. И вроде вчера это было. Какой ветер унёс? Вот что обидно... Эх-ма, на большой земле, как на острове. До помощи не докричишься.

На многие и многие вёрсты голые поля здесь поросли самым глухим березняком да лещиной, осинником. Развалины овинов, пунек, скотных дворов. Стропила с обрешетником, как рёбра дохлых кляч. От всего остались лишь следы да остовы. Редко – стены. Чаще всего бетонные эти стены бывшего коровника совхоза-миллионера – сами по себе. Свидетельство того, что и здесь кипела жизнь. Самая бойкая и трудовая.

Бревенчатые же избы и скотные дворы здесь давным-давно истлели. Прясла и заборы догнили так, что уже и не понять, где и чьё было.

Не прошло и двадцати лет, когда в этой самой деревне соседи хватались за вилы из-за межи, из-за пробившейся в огород козы или свиньи. Брались за топоры и ссорились из-за делянки на порубку дров. Из-за охапки цветочника в лесу, что нашмыгали серпом, «украдкой». Теперь всё брошено, запущено, оскудело...

... Два мужика в подпитии бредут на рыбалку с бреднем. Передислокация долгая, в несколько километров: от реки к озеру...

Двое подростков и девчонка – за ними следом, то отставая, то обгоняя в своих непонятных взрослому детских непоседливых играх. И вот идут, – мотня от бредня тянется и подпрыгивает, то по траве, то по дороге. Змеёй зелёной вьётся под ногами, поигрывает, блестя грузилами новыми. Подхватывать эту мотню надоело. Как бабью юбку или шлейф царицы. А не подхватишь – бредень порёшь. Зацепишь за колючку или кустарник, потом драгву сучи, зашивай.

– Мотня у бредня – первое дело, береги её, – наставительно говорит военному сутулый чернявый плешивый мужик. Он выглядит старше своих лет и идёт труднее, запинаясь. – Держи мотню!

– А то я не знаю, – отвечает военный. – Поучи меня.

– И поучу. Мне же латать-то. Ты сейчас придёшь, рыбки нажаришь. Шапку в охапку – и в город. А нам тут век вековать.

– Что, обидно?

– Обидно. Одна Москва и жирует. Остальные копаются, как жуки в навозе.

– Уж это точно, так и есть. Ну какая тут жизнь? Прозябание. Неделю-полторы пожил – и хоть волком вой.

Поплавки из пенопласта, древние, тоже прыгают в траве, играют и желтеют костяной мертвенной белизной, лёгкие, невесомые. И клячи бредня так захватаны до глянца, тоже голые, липовые, костяные.

Тащат тяжкий мокрый бредень рыбаки по очереди, в ногу идут – точно гроб несут. По очереди – то мужики, то двое мальчишек. Все изъедены слепнями, издёрганы, усталы и злы. Босоногая девочка семенит следом за ребятами, и кажется – только её одну и радует этот ясный полдень, это недалёкое уже и ослепительно открывшееся широкое озеро с тёмно- и чернильно-синим отражённым в нём берегом и широкими ветлами по ту сторону.

Впятером сбегают они под крутизну оврага. Дальше идти по камням, по дну неширокой протоки, по холодному устью родникового распада.

Каменистые берега поросли мать-и-мачехой, дно – водорослями. Они трепещут и двигаются под водой, как бы на сквозняке, подчиняясь подводным течениям.

– ...А всё он виноват, – словно продолжая прерванный диалог, гудит один из мужиков, деревенский.

– Кто это – «он»?

– Беспалый. Вот кто. От него такой упадок пошёл...

– «Беспалый»... А ты-то где был?

– Кто, я? Там же, где и ты. Ещё спроси, где я при Хозяине был. Я на ту пору только в чертежах собирался. Я из тех же ворот, что и весь народ.

– Пустой это спор, давай закончим. Сто лет в обед как Беспалого нет, а он всё помнит, чуть что: «это Беспалый виноват!» Это он, что ли, Беспалый, деревню разогнал, хребет сломал крестьянству?..

– Да где тебе понять суть. Ты же армейский, из войск в деревню носа не казал.

– Какой там «хребет». Становой хребет, понятно, кто крестьянину и до Беспалого сломали. Ус, «Хозяин», как ты говоришь, и сломал.

– Ещё чего не скажи! После Хозяина Хрущ был. Этот участки-то порезал, не кто-нибудь. Всех обмерял... А Ус – всё правильно вперёд вёл. Давным-давно доказано уже, что так и надо было. Только в коллективе и выжила Рассея. Налоги – это да, вот тут перебор был, конечно. И явно перебор. С другой стороны – и город работал не жалея себя. Все пахали на... «индустриализация», слышал про такое слово? За пять минут опоздания на работу посадить могли, ты понимаешь? Опоздал на пять минут три раза – срок! Вот как страну-то эту поднимали. А эти пришли – растащили по карманам живо, в несколько месяцев! Крестьянин кормил рабочего. Рабочий создавал плуг и ракету. А без этой ракеты нас давно растоптали бы. Уже планы были готовы. Уничтожения. От американцев. Не продрозверстку же было каждый год учинять, вот – и налоги. А результат: как весна, так понижения цен ждали, как весна – так понижение, а теперь что? Не мне тебе говорить, сам знаешь... Вот он и выдернул вас всех – это он, это Ус – в города! А в деревне-то кто остался, излом да вывих? Ко времени нынешнему кто остался из мужиков? Ни-ко-го. Я да Миша Охремкин. Крышка.

– Кто хотел уехать, тот уехал. Кто не хотел уехать – оправдания искал.

– До Хруща-то не очень уезжали. Не уехать было. И правильно. За калитку без справочки-то не выйдешь, вот оно как было. За справочку красивые бабы начальству давали. Крепостное право, вот так было-то! Паспорт получить мудрено было. Да и Бровастый ещё держал вот как! В деревне клубы строили, дороги, а теперь что? И вовсе – швах. Каюк. Капут. Молчи, могила... А до пятьдесят третьего жили строго... Не забалуешь. Это тебе не нефть да газ налево спускать... Да ещё и закон придумали этакий – «неприкосновенность частной собственности». Не добавляют, что собственности – награбленной ими же самими у народа. Значит, у нас – грабь, а что у них – не трогай. Перемотра не будет.

– Это чтобы не очнулся народ и не пересажал их, не перестрелял и не отнял переписанное на родственников, наворованное, народное. Это в какой ещё стране есть такой закон, чтобы жулик узаконил воровство? Или вот это: «материнский капитал», четыреста с чем-то там тыщ за рождение второго и третьего. «Плодитесь да размножайтесь». Ну, четыреста, и то не наличными, и когда-то в будущем. А ты ребёнка из роддома принёс, а дальше как? Работы нет, заводы все скупили под аренду. Сельское хозяйство на боку, и четыреста хрен возмёмшь...

– Купить хотят. Опять купить. Опять ваучеры придумали, только теперь – на детей, в расрочку...

– А украдено сколько? Триллионы по госзакупкам. Этот, твой генерал – «Табуретка», бабы его – по восемь с гаком... миллиардов. Миллиардов ведь, не миллионов! Вон куда! Воры!

– А когда Хозяин умер в пятьдесят третьем – ни рубля, ты слышишь, на счету у него не было. Ни у него, ни у детей. Только китель да рваные сапоги. Дырки он прорезал на суставах большого пальца. Страдал подагрой, и вот, чтобы не тёрли ноги сапоги-то. Он сам прорезал. Шишки были на ногах, как у моей жены. Сестры твоей. Он мог золотые себе заказать, а он дырки вырезал. И не воевали с союзными республиками, заметь, никогда не воевали. И мысли не возникало. К двадцать четвёртому всё покончили, всю рознь.

– Да ты ещё скажи, что на него молиться должны.

– Нет, не скажу так. Молиться, пожалуй, не должны.

– Я приехал из города к тебе. И ты – жив, и рыбу с детьми ловить идёшь. И сыт, и пьян. И идёшь ты только потому, что нас ни разу не отбомбили янки. Ни разу, заметь.

– А почему? Просто потому, что Хозяин был. А теперь нет Хозяина. Сказано: «Принял Рассею-мать в лаптях, с сохой, а оставил с атомным оружием...» Вот голову задурили вам, военным... «Я жизнь за Россию отдам», и прочее всё в том же роде...

– «Задурили». Слово-то какое! Ты лучше скажи, назови, сколько стран отбомбили за эти года, та же Америка. Много? Вот именно. А нас, однако, не тронули. Почему? Потому – ядерные ракеты есть. И «С-400», и гиперзвук...

– А спасибо кому? Уж не оплётанным ли «шарашкам»? Не Усу ли?

– ...Он опять за своё!

...Но вот уже и широкое озеро с отражёнными в нём берегами. Высоко пролетает самолёт. Бахнул где-то далеко, преодолевая сверхзвуковой барьер, и всё тряхнуло, вздрогнуло всё, – и пошёл ещё стремительнее, превратился уже в яркую, блистающую в синеве точку.

Наметился обоюдоострый след в виде белоснежных линий, похожих на вытянутые перистые облака-борозды... Стали редеть и расплываться, расплылись белые воздушные борозды. Словно там, в небе, идёт посевная: космическим плугом на бренную землю сеют нечто божественное, светлое, чистое. Но земля не принимает эти посева. Брошенная всеми, она обижена на людей. Заснула земля – обморочно, глухо. Поля и посевные поля взялись мусорным лесом. Осинником непролазным, березняком.

– Вон он, вот где уже – над нами, смотрите! – ребята в восхищении замерли, глядя вверх. Девочка тоже очарованно – долго, до слепоты – глядит на самолёт из-под руки. В синее и сияющее пространство, провожает взглядом. Там, вверху, – светло, радостно и ослепительно. Там – праздничная глубь и голубень, а здесь, на земле, уже хмурится, уже ярится от низкой, только что наверху тучи, похожей на огромную гору с налипшим гигантским пером-облаком.

Туча грозит дождём деревне со всеми её стоящими на пригорке, – точно с остатками разбитой армии, брошенной после боя техники, – нерабочими тракторами, сеялками прицепной тяги, плугами – полуразобранными, давно уже нерабочим динамо и всяким хламом в бурьяне.

Туча всё наплывает, грозит дождём: и вишневым садам, и кустарнику облепихи в малиннике, вблизи с водонапорной ржавой башней. Башня, как вознесённая вверх граната, грозит и самим рыбакам, им не укрыться.

Раскинули бредень, забрели два раза, – и вот уже девочка сидит на берегу с ведёрком, доверху наполненным рыбой, мелюзгой, скребущими по дну ведра раками и плавающими сверху, налипающими на всё, и на руки, и на деревянную ручку ведра-подойника, рыбьей чешуёй, водорослями. Живое рыбье движение в отяжелевшем ведре, скрежет раков по дну.

Берега озера как бы прогнулись под тяжестью воды, сплошь заросли кугой, кузьминником, травой и тиной. Глинистые берега в гусином пуху – точно обтёсаны топором, одновременно напоминая и сруб дома, и зачерствелую краюху хлеба. Берег на другой стороне песчан, испещрён норками стрижей; они летают и звенят над головой. На середине – озеро ослепительно сверкает ветровой рябью, морщится и чуть плещет, а здесь, у берега, где лишь подводные заросли куги да водоросли – гладь зеркальна, как чистый лёд.

На отлогом травяном склоне, на лысом месте, мужики, взрослые рыбаки, уже выкупавшись и потеряв всякий интерес к рыбалке, приканчивают остатки снеди. Тушат костёр старым проверенным способом: попеременно мочась на него и отворачиваясь от вонючего едкого пара.

– Ишь, шипит, как в бане на каменке, – тряся ширинкой и плюя на пальцы, туго увязывая ремнём штаны, говорит малорослый и кричит: – Эй, заканчивай, робя, не будет рыбалки, ветер пошёл.

Второй – высокий, образованный, пожилой военный, молча и пьяно, с блуждающим счастливым взором, заедает чарку зелёным луком. Двое мальчишек, сыновья малорослого, не переставая, с охоткой таскают и таскают бредень, процеживают воду, закидывая мотню возможно дальше и обредая кусты поближе, там, где явно ходят щуки. Изредка выпрыгивают они и ударяют под кусты над водой. Щурки играют до обидного рядом – рукой схватить.

Бредень становится всё тяжелее: с каждым забродом набирает он, выцеживает тину. Тяжелее не от улова, а от жидкой и вонючей осоки, вездесущей мелкой ряски пополам с пиявками и воняющей густо-лежалой гнилой тыквой – подводной травой. Оба месят ногами тину и глину, – так заправские горшевики или виноделы топтали бы лозу и гроздь.

Увязают, и, с трудом выдирая ноги, выбиваясь из сил, борются, и тянут, тянут за клячи – за две деревянные палки, накрепко притороченные к сети. Низко-низко они выводят мотню на сушу, – так низко, что, запинаясь и сами, валятся. Но бойко вскакивают, с перепачканными ногами, подхватывают сеть так низко, как драгоценную фату невесты, и выводят её на берег. На ногах у них по одному осталось ботинку, остальные потеряны в тине навсегда. Высокий костистый парнишка, один из них, особенно деловой, сразу видно, что деревенский, здешний – добытчик. Умело освобождает зацепы, вытряхивает грязь. Второй путается в крыльях бредня и отступает, – с каким-то особым удовольствием достаёт то рыбу, то рака и швыряет через родниковую протоку девчонке. Раки, один за другим пролетая над ней, так бьют хвостами на лету, что она жмурится и замирает от страха.

– Любаня, лови! – и хохот озорников...

И опять заходят, оступаются и падают среди осоки.

– Вань, – заговорщицки говорит старший меньшому, – ты давай круче заводи, распугиваем зря...

– Больно хитрый, сам заводи, здесь глыбко, поди что – и с ручками будет. – Он осторожно отступает, измеряя глубину. И действительно, исчезает под водой с головой и с поднятыми вверх руками. – Давай ты заводи, вишь, тут что... – тоже заговорщицки, чтобы не спугнуть рыбу, отвечает Ваня.

– А ты саженками.

– Сам саженками...

Дождевая туча сходит, сошла на дальние пригорки – и посветлело... А девочка всё сидит и смотрит на серебриющиеся от порывов ветра ивы, на горизонт с побитой техникой, на кучерявые причудливо расплзающиеся облака.

Они мало двигаются, как заворожённые или околдованные. Небесная непорочная их белизна – юна, как эта девочка. Она же сама, девочка, – жалко-стройна и хрупка под ними и беззащитна. Худа, бледна и как-то особенно мала и беспомощна, как бывают светлы изнутри только безнадежно больные, уже сросшиеся душой со своей болезнью дети, – редкой и странной, необъяснимой доброты.

...В ведре подле неё время от времени всплскивает щука, и тогда девочка хватает ведро, чтобы оно не опрокинулось. Расставив врозь острые коленки, упершись руками и прижав ведро, она сидит и, кажется, не замечает ни ветра, ни холодного сырого платья, туго обтянувшего её голени. Она бережёт улов.

Неподалёку – стая глупых домашних уток наплывает прямо на бредень, на жёлтые поплавки его, но она даже и не пытается отогнать их, словно обессилела.

– Эй, – кричит ей один из ребят и грозит кулаком: – Ну, ты получишь...

– За что ты ей? – спрашивает второй.

– А чего она, отогнать не может или не видит уток, мартышка?! И всегда вот так, пока не задашь ей взбучку, ходит-спит... Мартата, мартышка незадутая. Утки от неё – и прямо к нам, чего тут теперь поймашь?! Всю рыбу распугали.

...Там и здесь сохнут кочки водорослей, давным-давно разными рыбаками вытряхнутые из бредней. Кочки эти так подсохли, что стали рыже-серыми, похожими на дохлых ежей. Видно, что рыбачат здесь часто и что «рыбачат» бреднями приезжие, по причине скуки да их привязанности к водочке.

Нелюдимо, пусто, слышен крик петуха за гумнами, за холмом стрекочет лесопилка – единственная мечта и единственная надежда рабочего люда, всей здешней безработной округи, тех редких мужиков, которые не спились ещё окончательно.

Двое взрослых доели припасы, выставили высоко пустую бутылку, на кромку полуямы-костровища, как выставили бы бутылку на бруствер окопа солдаты, для того чтобы подразнить противника. Потухший было костёр вновь стал оживать, начал поигрывать огоньком. Один из мужиков принялся собирать облупленным яйцом остатки крупной крупитчатой соли с промокшей газеты, другой заворачивает в целлофан и прячет в кошель солёный огурец, озубки сала, пачку сигарет и, жуя, с колен, ведёт разговор:

– Не-ет, говорю я ему, слышь-ка, сват, это я-то ему баю: ты вернёшь мне сошник?!

– Ну, ну...

– Вернёшь! – повторяет он с угрозой, пристукивая по спичечному коробку толстым пальцем.

Он угрюмо, пьяно и зло дурашлив. Малорослый – по пьяным причудам своим, по неловкости своей – кажется чем-то схожим с насекомым, с жуком-рогачом. И кличка прилипла к нему: Жук.

– Вернё-ёшь, ядрёна-матрёна...

– Это ты-то ему?

– Я!

– Ну, ну... – опять произносит высокий и статный военный.

Он всё ещё полулежит на боку, жуя лук с зелёными перьями. Он слегка, едва заметно, сутул, той сутулостью, которая легко скрадывается привычной выправкой военного чина. Ему, как это видно, давно уже надоели эти пустые разговоры, про деревню, про политику, про хомуты и про то, как «надо взять на конном дворе лошадь, если она нужна, но её не дают». Видно, что Жук ему давно не интересен – не его масштаба человек. Но из укоренённой в характере черты: не обострять отношения, особенно с людьми мелкими, он притворяется заинтересованным.

– Ты ешь, ешь, доедай, силу-то не оставляй, а то спьянеешь опять, будешь фортеля выкидывать. Ешь, потом доскажешь, – перебивает он Жука, начавшего ерепениться. Лоб у него крутой, волос светлый и кучерявый. Вид этот немалого чина, приехавшего на день-другой отдохнуть «на родину», весь вид его – и жизнь, удачно сложившаяся, и взгляд, и сам нерв отношений – говорит о том, что он презирает зятя.

Но тут вдруг какая-то внезапная догадка встряхивает Жука, с новой яростью несправедливо обиженного рассказчика он взрывается, свирепеет:

– Иди ты! «Ешь, ешь...» – сам ешь! – с внезапной озлобленностью пьяного вспыхивает Жук. Глаза его начинают косить – это верный признак того, что он опять спьянел и теперь он «не в себе», непредсказуем. – Я тебя перебивал, когда ты всё про полк свой да про политику нёс? Теперь послушай ты – про хомуты!

– А-а-а?

– На! Вот с тем и возьмите! Меня за столыжник, за бутылку не возьмёшь, двести потребую.

– Ишь, ты...

– С тем и возьмите...

– Это что, наезд?

– Да, наезд!

– Отъезжаю... Закусывай, закусывай, давай, давай.

– «Давай» этим, как его... подавился.

Жук и впрямь жалок. С ним можно лишь улыбаться да шутить, и то осторожно.

Весь он какой-то сморщенный, худой и вертлявый. Досталось ему, по всему видно, не в пример больше, чем военному. Потрепало его. Скулы с жёлтым пригаром, щёки побиты ospой. Весь он – наглядный пример того, до чего доводит тяжёлый ежедневный изнурительный физический труд, вечно свежий воздух и самогон. Рассказывая о давних спорах, он имеет привычку заводиться сам собой. Снова и снова, что называется, «с пол-оборота».

– Что я, жрать сюда пришёл? Я пришёл с тобой поговорить, как-никак однокашники. Ты слушай, не перебивай, я кому говорю-то, столбу или дереву? Живот, он старого добра не помнит, не об жратве же речь...

– Ага, да. Ну, про лошадь-то?

– Прихожу к нему на конный двор. Уж на другой день, заметь, на другой. А сено не вывезено, сгниёт...

– Ага...

– Прихожу. «Лошадь дай». – «Нету». – «Как так нету, а эта?..» – «Отправил в разъезд...» – «А та?» – «Послал за почтой». – «А ещё – та?..» – «Поена, вот-вот только напоил». А сам глазами зырк-зырк. Я глядь, а он – вот он, стоит стригун да хвостом машет... – «Ну, давай этого! Оно и любо!» – «Не дам: сосун». А на том сосуне – хоть воду вози. «Ну, иди, – говорит, – иди, поймай. Поймаешь – возьмёшь». – «Ты выведи, я поймаю». – «В загон?» – «В загон». – «На-ка узду, ты и иди». – «Не хочу, – отвечает, – я только что выгонял... Еле-еле на место в стойло определил. Сам иди». – А молодые, они брыкучие, убьёт чужого. Сразу. Запряги его попробуй, если чужой, если он тебя не признал.

– Вот стервец! – подыгрывает военный. – Даже так?!

– А я про что? Сел он передо мной, шило, дратва, хомут чинит...

– По горбу ему этим хомутом...

– Да. Я ему: давай-ка, знаешь что? Давай-ка вертай-ка в зад мою электропилу, и пропади ты пропадом. И чтоб ты ко мне больше ни ногой.

– Правильно, без пилы – пусть почухается. Это ты верно. Это не у Пронькиных, за столом не того... Так сломал он пилу-то? Ты же уже рассказывал. А сам починить он не сможет...

– Сам, только сам. Я, друг ты мой, весь в делах, света белого не вижу.

Жук закуривает и тотчас становится и вовсе пьяным, его развозит от табака так, что он удивляет своей переменной настроенности даже видавшего виды военного.

– Рыбалка – она теперь у меня одно утешение. Но кормить перестала и она. Всю рыбу процедили, сволочи. Всю рыбу. Во! Было рыбы завались. Сомы водились, веришь, нет? А теперь не рыбалка, а пу-сто-е-вре-мя-про-во-жде-ни-е...

– Да, «щуку с руку и линия с меня», помню, помню ещё, не забыл... Поди-ка, ещё и охота хороша зимой? Охота, поди-ка, здесь важная. Места глухие, немые, – оглядывая окрестности из-под руки, мечтательно произносит военный. – А? Места-то глухие, немые. Нагряться сюда по зиме, а? Любо-дорого.

– Да... не охотник я. Трах-бабах, не люблю. Баловство это. Одна достоинства у меня – вот он, парень мой. Парень – моя кровь. Вот охотник-то. Без зайца или петуха никогда не приходил. Люблю я его, чёрта, уж вот как люблю... А уж озорной, жуть.

– Зато и охотник!

– О-о! Охотник! Иногда притащит, заяц ещё пищит, как ребёнок в зыбке. А он нарочно его не добывает. Потому добыёшь, остынет. Разделывать тяжело, шкуру мездрить и всё такое – опыт!

И он, глядя на мальчишку, такого же чернявого, как и сам, подумал, икнул и закашлялся от дыма. Мальчишка шумно плескал, кидал пригоршнями воду, пугал рыбу из куста.

– А... Колюху?

– И-и-и, как Колюху люблю!

– Толковый...

– Ванятка! – крикнул Жук, вставая, а что, бота уже нет, сломали боту? Постучать-то по кустам?

– Утопили боту, она кленовая оказалась.

Военный смотрел на всё и явно скучал...

В это время как раз выволокли мотню на берег. Серебряная рыбёшка, мелкая, как монеты, посыпалась, трепыхаясь, сквозь крупную ячею сети. Стали вылезать и падать медлительные раки, козявки. Кувшинки желтели, ползли жуки чёрные, плавунцы. Девчонка кинулась к ребятам и с интересом принялась разбирать улов. Грязная ряска, листья мать-и-мачехи, водоросли... Она возбуждённо и радостно закричала что-то, – верно, увидела что-то в шевелящейся, в забитой и загаженной ряской мотне. Дужка звякнула о ведро, ведро опрокинулось, и, потирая ушибленное колено, она упала с размаху в траву. И тут же, поспешно, с оглядкой, принялась собирать улов обратно в ведро.

Колька, походя, вдруг с силой вытянул её по спине мокрой, как жгут, рубахой.

– Колюха, я т-те дам! – заорал, угрожая отец.

– А чего она, раззява, у-у, маргышка!

Оба кинулись собирать улов в пустое ведро. Рыба билась и плескалась в луже пролитой воды.

Девчонка, всхлипывая, продолжала собирать рыбу. Ерши, колючие и скользкие, точно испачканные пенной слюной, никак не хотели попадать в ведро, она уронила одного. И Колька пристально, со злобным презрением и с затаённой радостью мести следил за ней искоса. «Смотри же, я задам тебе нынче», – читалось в его взгляде.

– Чего ты её? – спросил из-за спины Иван.

– А пусть не лезет. Путаётся под ногами... Богат улов-то...

И в ведро издалека, один за другим, полетели окуни, краснопёрки.

– Чтой-то рано он у тебя волю взял, – степенно заметил Жуку лобастый военный, с силой ратирая затёкшую от долгого сидения ногу. – Вольный казак, пятки назад! Она тоже мне не кое-кто, племянница!

– А и девка – яд, – с мрачной серьёзностью ответил чернявый. С тоской глядя на пустую бутылку в кошеле. – Пла-ачет, сват, всё-то плачет... Горе с ней горькое.

– Плачет?

– И-и, ручьём разливается...

– А чего плачет-то?

– Да вот возьми её, не говорит. Ай по матери? То и дело, то и дело. Она её пло-охонькую родила, Марья-то. Я брал её с дитём, думал: не жилица девка-то будет. Он мне, чужой довесок-то, ни к чему уже и тогда был. А она, Марья-то, вперёд её убралась на тот свет. Вот и возьми, судьба... Да и эта – не жилица, по всему видать, тоже уберётся. А всё корми, следи за ней. Наряды – опять-таки. А при сегодняшнем времени оно, ох, как накладно.

– Да ты что, или объела, пожалел?

– Что ты, «пожалел». Не об этом же толкую, а – хворая, недолга... Напрасная же обуза. Марья и сама, упокойница, намекала, мол, Бог-то её приберёт, руки развяжет.

– Так и говорила?

– Ну, не прямо так, конечно... Нежеланная была, надрывалась от крика... Синела аж. После уж грыжу у неё нашли, от ору-то. Она ведь выгоняла её, девку, из живота, Марья-то, выгоняла, а не выгнала – и родила вот, всё равно. Нагуляла.

– А эта живёт, вот и молодец девка! Помощница тебе будет.

– Пусть живёт, живёт – не жалко...

– А всё – не своя.

– Именно. Чужая кровь.

– А жалко бывает, совесть не заедает?

Жук всхлипнул:

– И-и, ещё как жалко-то другой раз бывает, ведь ребёнок, ангельская душка. Чем она виновата, виновата не она же, сват... А тут за ними догляди, попробуй... Она теперь молодые да ранние...

– Акселераты.

– Во!

– А вчера мой-то, Колоуха-то, что удумал. Залез на перемёт во дворе. На перемёт, ведь вон куда! Залез в гнездо, достаёт и бьёт ласточек, птенцов-то, об землю. Вынет птенца и – хряп, вынет и – оппа... Я увидел и обмер, сват, ведь это – к пожару. Она, ласточка, старики ещё сказывали, как будто в клюве приносит огонь-то. Никто не знает как, – чистой или нечистой силой, но она это делает, это точно. Много раз убеждались: разорить ласточкино гнездо – к пожару. То ли находит где-то огонь, то ли беспричинно двор загорается, ни с того ни с сего. И чудно и страшно.

– Мстит, значит. Язычество какое. Заскорюзлое...

– Девка увидала, охнула, сердешная... (А он нарочно при ней). Она побледнела – и в обморок... Я его схватил, мало-мало не придушил... Девке-то проходу ведь вовсе не даёт. Что он к ней прилип... Другой раз, думаю, до смерти ведь защиплет...

– А ты б его гужой поучил маленько. Привязал к телеге – и гужой. Помнишь, как нас-то учили. Вот и вышли людьми. Есть гужа-то?

– Сёк. Чем только не пробовал. Аж цепью от ведра колодезного. Он смотрит волком и молчит. Спрашиваю, мол, будешь ещё? – «Буду!» Волчонок ещё тот...

– Да, сложный характер у твоего охотника. Уши-то, глянь, торчком, и впрямь того, волчьи...

Оба захохотали. Жук потрогал и свои уши.

– В меня! Уж как, сват, сёк его, до рвоты. Рвёт его, а мне жаль, ведь родной.

– Своё не пахнет, дело известное. А эта, говоришь, всё плачет?

– Плачет, горе горькое. – Жук даже всхлипнул. Дыхание затыкал пьяный насморк. – Хоть померла бы, – сказал он шёпотом, – а то – бяда будет... Забьёт, будет грех. Ведь дышу не даёт, проходу нет ей от Кольки-то.

– Ну, не забьёт, подрастёт, будет она и тебе за хозяйку. Штаны вам всем перестирала, мужикам... А то это, воняет, поди, от вас, как от козлов, а?

– Ты брось эти шутки. Кой хрен, помощница. От неё и от Марьи-то, не обижайся, толку мало было. Нет и нет, от неё нормальное дитё и не могло получиться. Ты ж не глядел за ней, не навещал, не писал, она сама, без тебя, без старшего догляда выростала. Межедворка, плут, индерша. Не баба, а конь с яйцами. С кем она только не полежала, ой, не пересчитать! Не знала сама, с кем и нажила дитё, ведь это – что? Порода не та.

– Ты мне это брось!

– Не та порода...

– Ну, считай, уязвил ты меня... А девчонку я не заберу. Некуда. Не-ку-да... Деньги дам, а в город не возьму. На то причины есть, говорить не хочу. Деньги дам. А вот он, Колоуха-то твой, неделю будет из шкуры занозы таскать, если не бросит свои выходки.

– А не уступит, спуску не даст... Доймёт ведь девку-то... Дожмёт озорник. Гиблое дело! Не вяжись и ты, пожалеешь.

– Даже так? «Пожалеешь!» Покается. Глуп ещё. А чего же он от неё хочет? Или добивается чего, ты не вникал?

– Покается, сват, да, видать, поздно будет. Озорник, на днях у соседки из сушил и гнезда несущи все яйца на болтуны поменял и самогон на яйца выменял. А где – не говорит. Так напоил старшего, что тот облевался. Соседка рассказала. Я за уши его. Так он соседке дрожжей в нужник: зачем



сказала, не говори отцу, что яйца все под чистоган выгреб! Так и поплыл, нужник-то. Даже завозя в дерьме потонула.

– Значит, много.

– Что много?

– Много сушил обошёл, не у одной соседки побывал...

– Тебе всё шутки, твои уже взрослые, на свои яйца сели уже. В гнёздах своих. А эти? На моих сидят яйцах, вот так. И ведь трое их! Забери её в город, прошу...

– Опять двадцать пять! Ты – со своим, а он со своим!

...Собрав остатки ужина и тщательно уложив в кошель пакет, пустую бутылку зелёного стекла, остатки снеди, мужики не спеша помылись с мылом в озере, ныряя и оставляя пенистые белые следы, пугая пиявок в чистой воде. Потом переоделись в сухое и потянулись наверх по склону, туда, где едва заметно виднелись верхушки тополей и огромная тарелка для приёма телепередач – словно инопланетный корабль, упавший с небес, ужаснувшись всей этой нищетой и разрухой. Белая тарелка на фоне аспидной крыши и тёмного неба. Упала инопланетная тарелка, пропали астронавты. Не разбились, а растворились, пропали, исчезли в этой разрухе, погибли в этом раздразе покинутой всеми сельской жизни. Зависть, ненависть или равнодушие.

Звонит телефон. Звонит и звонит. Но военный, глядя на телетарелку, задумался.

– О, вас вызывает Таймыр, – кричит ему Жук.

Военный спохватывается. Лезет в запасной карман, достаёт мерцающий мобильник. Заговаривает.

– Да-а, – тянет Жук загадочно, глядя на высокого, шедшего обочь и заговорившего по мобильному телефону. – Да-а... Техника меняется, семимильными шагает шагами, техника-то. Гляну, вон, по деревне идёт и разговаривает-звонит по телефону, вот оно как, а раньше? С самой Москвой разговариваешь? Техника вперёд ушла, да-алеко ушла. Без проводов разговаривает. И у нас тут с телефоном ходит. Ньюша простая. Простая – это сумасшедшая.

– ...А люди те же, – убирая телефон в карман, угрюмо отвечал военный. – Что и сто лет назад. Даже и ещё хуже стали. Люди-то.

– Ты про меня, что ль? – осклабился Жук.

– Ну-у, нет, а так, вообще... Про сына твоего.

– Сына не тронь!

– Ну, ну, успокойся.

Не отставая, ловят шаг ребята, чтобы в ногу попасть, так легче идти. Легче было нести промокший тяжёлый бредень. Чтобы он не раскачивался и не томил тяжестью толчков. Младший уклонялся от болтающихся и угрожающих ударить всей своей блестящей тяжестью новых грузил. Девочка с ведром далеко и безнадежно отстала, задыхаясь, не попевала за ними.

Она всё оглядывалась на грозу, уже прошедшую стороной и всё-то угрожавшую дальними раскатами, всполохами молний – зарницами. То беззвучно, то с опозданиями погромыхивало ещё – и здесь и там. И неожиданно стал налетать сырой ветер, толкать в спину.

...Девочка шла одна, молча, и так, как если бы не на земле уже была. Шла еле-еле, как плыла по холму, одна в целом мире. Ветер менял направление, обдувал и прижимал к телу её мокрое синее платье, повторяя все изгибы её детского тельца. След от самолёта совсем растаял в вышине. Она подняла голову и с изумлённой радостью, остановившись, увидела, что за тучами, ещё выше туч – стало опять и светло, и чисто. Как-то особенно засияло лазоревое небо. И даже низкие тяжёлые грозные тучи не застыли эту солнечную райскую высоту, высокий простор, в который тянутся, прорастая вверх, тополя.

Она пристально смотрела с какой-то отчаянной тоской, долго-долго, из-под руки. И столпы света установились-встали так крепко, так широко и прочно, как на старых писанных иконах. Столпами светлыми, точно в храме ярким днём, ударили вниз струи света, опять заиграли в озере. Она стояла и смотрела как зачарованная в это светлое пространство между тучами и солнцем.

Грохнул-погромыхал вдали гром, но уже не грозно, а лениво, протяжно раскатилось кругом эхо, словно отъезжал с грохотом пустой грузовой вагон по железной дороге...

– ...Как святая! – прищурившись, то ли в шутку, то ли всерьёз сказал военный. – Святая, девчонка-то...

Из ведра торчал щучий хвост.